

Валентин Распутин. Уроки французского

Анастасии Прокопьевне Копыловой

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, – нет, а за то, что случилось с нами после.

Я пошёл в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у неё, а в последний день августа дядя Ваня, шофёр единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.

Голод в тот год ещё не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, – тогда не придётся всё время думать о еде. Всё лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь ещё пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет – некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну

у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от неё невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагрёб мне ведро картошки – под весну это было нёмалое богатство.

И всё потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

– Башковитый у тебя парень растёт. Ты это... давай учи его. Грамота зря не пропадёт.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал, как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? – затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда ещё не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятёрки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало всё моё ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бесильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно,

не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить – я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Всё было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, всё время вынужден был что-то делать, там меня тормозили ребята, вместе с ними – хочешь не хочешь – приходилось двигаться, играть, а на уроках – работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска – тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! – хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном – домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с рёвом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и её, я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину.

– Собирайся, – потребовала она, когда я подошёл. Хватит, отучился, поедem домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же ещё я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне её не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут – кажется много,хватишься через два дня – пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил – так и есть: был – нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал – тетьа Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятами, кто-то из её старших девочек или младший, Фёдка, – я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня от-

рывает последнее от своих, от сестрёнки с братишкой, а оно всё равно идёт мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня всё вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трёх маленьких, с чайную ложку, пескариков – от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил – что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почём продают, давился слюной и шёл ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвырвав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой всё равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези и животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

Однажды, ещё в сентябре, Федька спросил у меня:

– Ты в «чику» играть не боишься?

– В какую «чику»? – не понял я.

– Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдём сыграем.

– Нету.

– И у меня нету. Пойдём так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повёл меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже чёрной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного – рослого и

крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей чёлкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

– Этого ещё зачем привел? – недовольно сказал он Федьке.

– Он свой, Вадик, свой, – стал оправдываться Федька. – Он у нас живёт.

– Играть будешь? – спросил меня Вадик.

– Денег нету.

– Гляди не вякни кому, что мы здесь.

– Вот ещё! – обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошёл в сторонку и стал наблюдать. Играли не все – то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать её надо было с тем расчётом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за неё, – тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били всё той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул – твоя, бей дальше, нет – отдай это право следующему. Но важнее всего считалось ещё при броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шёл к валуну после всех, когда полная картина очерёдности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперёд. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся – шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасы-

вал съехавшую чёлку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в неё до тех пор, пока не добьюсь полного результата – десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Всё же раза два она подкладывала мне в письмо по пятёрке – на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек, не разживёшься, но всё равно деньги, на них на базаре можно было купить пять поллитровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятёрку в третий раз, я не пошёл за молоком, а разменял её на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй – шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба по-

шла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадёт и сколько ещё прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наконец наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла тёплая и сухая. Ещё и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесёнными откуда-то из непогоды слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурмящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморённая, все же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибежал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперёд, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает – всё равно тянет. Вызовут – молчит.

– Что ж ты руку поднимал? – спрашивают Тишкина.

Он шлёпал своими глазенками:

– Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное – от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда ещё не сошёлся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один – потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчёт: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за неё и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втрое. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приёмом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя – так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока (тётки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта всё равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бро-

сать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

- Ты что это – загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.
- Мне уроки надо, Вадик, делать, – стал отговариваться я.
- Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

– Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать её, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому ещё не прощалось, если в своём деле он вырывается вперёд? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идёт за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шёл собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы – если не окажется орла – собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

– Не в склад! – объявил Вадик.

Я подошёл к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил её с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, – иначе он не стал бы её закрывать.

– Ты перевернул её, – сказал я. – Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

– А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно; если начнётся драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул её и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведёт, – решил я. – Всё равно я их сейчас всё заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я не ловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:

– Чего-о ты?!

– Кто тебе сказал, что это я? – отперся он. – Приснилось, что ли?

– Давай сюда! – Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал её. Обида перехлестнула во мне страх ничего на свете я больше не боюсь. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

– Давай сюда! – потребовал Вадик.

– Ты перевернул ту монетку! – крикнул я ему. – Я видел, что перевернул. Видел.

– Ну-ка, повтори, – надвигаясь на меня, попросил он.

– Ты перевернул её, – уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было ещё вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же:

– Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что

больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

– Иди отсюда, пока живой! – скомандовал Вадик. – Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыряя омертвевшим носом, полпелся в гору.

– Только вякни кому – убьём! – пообещал мне вслед Вадик.

Я не ответил. Всё во мне как-то затвёрдело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И, только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи – так что слышал, наверное, весь поселок:

– Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся – видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг чёрной крапивой, упал на жёсткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от неё что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая буд-

то бы и шуточные, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

– Ну вот, – сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. – Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у неё косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

– И что случилось? – спросила она.

– Упал, – брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

– Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

– Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

– Хи, упал! – выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. – Это ему Вадик из седьмого класса поднёс. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал, Я же видел. А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что – совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги нас в два счёта могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха всё всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внёс ясность – нечего сказать.

– Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, – не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. – Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: – После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни творил, – разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило зани-

маться этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперёд в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застёгнутый, оттопыривающийся тёмный френч двигается самостоятельно чуть поперёд директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждем. смотри, вся школа ждёт, что ты нам скажешь». Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» – «Что меня побудило?» – Вот именно: что побудило? Слушаем тебя». Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и всё это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увёл к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжёгшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело – если бы я сам бросил школу... Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадёжный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы ещё потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подалее от неё, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

– Это правда, что ты играешь на деньги? – сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шёпотом, и я испугался ещё больше. Но заператься

никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

– Правда.

– Ну и как – выигрываешь или проигрываешь? Я замялся, не зная, что лучше.

– Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?

– Вы... выигрываю.

– Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

– ...

– Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

– Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

– И больше не играешь?

– Нет.

– А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

– Покупаю молоко.

– Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от неё, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на неё, я не посмел и обмануть её. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде её косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одино-

кий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я ещё раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

– И всё-таки на деньги играть не надо, – задумчиво сказала Лидия Михайловна. – Обошёлся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал:

– Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать верёвками.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезённый в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо ещё, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне всё время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только по нашей полян-

ке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль – уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошёл, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвёрнутыми ушами, сидящей, как и всё на нём, беззаботно и смело, в клетчатой, навывпуск рубашке с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

– Чего пришёл? Давно не били?

– Играть пришёл, – как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.

– Кто тебе сказал, что с тобой, – Птаха выругался, – будут тут играть?

– Никто.

– Что, Вадик, сразу будем бить или подождём немножко?

– Чего ты пристал к человеку, Птаха? – щурясь на меня, сказал Вадик. – Понял, человек играть пришёл. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

– У вас нет по десять рублей, – только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

– У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

– Дать ему, Вадик?

– Не надо, пусть играет. – Вадик подмигнул ребятам. – Он здорово играет, мы ему в подмётки не годимся.

Теперь я был ученый и понимал, что это такое – доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в неё меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдёт, к чему придраться, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашёл ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось её постоянно прикусывать. Но, как ни прятал я её, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

– Хватит, ой, хватит! – испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. – Да что же это такое?! Нет, придётся с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придётся остаться наедине с Лидией Михайловной, и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем ещё, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «beaucoeur» (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристомом пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать грани-

цы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.

Оказалось, что и это ещё не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шёл туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился – меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дожидаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприёмник; с проигрывателем – редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у неё в доме,

всё здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный лёгкими и незнакомыми запахами иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я ещё глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню её правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем чёрные, коротко остриженные волосы. Но при всём этом не было видно в её лице жёсткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем; по голосу, по походке – мягкой, но уверенной, свободной, по всему её поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким.

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходиться. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной, – настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных.

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и

обида, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убежал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занёс в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофёр, – какой ещё мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог – вот и оставил в раздевалке.

Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящик, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящике? – мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня – чтобы не перепутали, для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Смотрите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня ещё был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные жёлтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в неё, и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать

их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попустишь. Это вам не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся. Макароны... Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгрёб макароны и нашёл на дне ящичка несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я ещё раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия – мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдём, знаем, где живёт, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол – получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала:

- Что это? Что такое ты принёс? Зачем?
- Это вы сделали, – сказал я дрожащим, срывающимся голосом.
- Что я сделала? О чем ты?
- Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

- Почему ты решил, что это я?
- Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.

– Как! Совсем не бывает?! – Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.

– Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился. от неё.

– Действительно, надо было знать. Как же это я так?! – Она на минутку задумалась. – Но тут и догадаться трудно было – честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

– Горох бывает. Редька бывает.

– Горох... редька... А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. – Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. – Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми...

– Не возьму, – перебил я её.

– Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

– Я совсем не голодаю.

– Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмёшь сейчас эти макароны и сварить себе сегодня хороший обед. Почему я не могу тебе помочь – единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чём ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Её голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь её всё-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжёлыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.

– Хорошо, – подбадривала меня Лидия Михайловна. – В этой четверти пятёрка ещё не получится, а в следующей – обязательно.

О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмется ещё придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло, так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна всё время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью, – я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к её квартире. Всё ещё, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетённость отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.

Она сделала ещё попытку посадить меня за стол – напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой отмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарик, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие.

Меня ещё подстегивало самолюбие: не получалось – получится, и получится – не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы ещё не надо было ходить к Лидии Михайловне... Я бы сам, сам...

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

– Ну а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?

– Как же сейчас играть?! – удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

– А что это была за игра? В чем она заключается?

– Зачем вам? – насторожился я.

– Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли, Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.

– Нет, – Лидия Михайловна покачала головой. – Мы играли в «пристеноч». Знаешь, что это такое?

– Нет.

– Вот смотри. – Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. – Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. – Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. – Теперь, – Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, – бьёшь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь, – значит, выиграл. Бей.

Я ударил – моя монета, попав на ребро, покатилась в угол.

– О-о, – махнула рукой Лидия Михайловна. – Далекое. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, – я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

– Чего тут непонятного?

– Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

– Как же я с вами буду играть?

– А что такое?

– Вы же учительница!

– Ну и что? Учительница – так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя, – Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстранение смотрела в окно. – Иной раз полезно забыть, что ты учительница, – не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное – не принимать себя всерьёз, понимать, что он может научить совсем немногому. – Она встряхнулась и сразу повеселела. – А я в детстве была отчаянной девочкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь ещё часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестаёт быть ребёнком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живёт Василий Андреевич. Он очень серьёзный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в «замеряшки».

– Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.

– Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты всё равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал её. Светопреставление – не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

– Ну что – попробуем? Не понравится – бросим.

– Давайте, – нерешительно согласился я.

– Начинай.

Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я ещё не выяснил для себя, как бить монетой о стену – ребром ли, или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую; если бы вели счёт, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих «замеряшках» не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила её.

– Нет, так неинтересно, – сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. – Играть – так по-настоящему, а то что мы с тобой как трехлетние малыши.

– Но тогда это будет игра на деньги, – несмело напомнил я.

– Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а всё равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.

– Неужели боишься? – подзадорила меня Лидия Михайловна.

– Вот ещё! Ничего я не боюсь.

У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что – не я первый начал. Вадик попервости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.

Мне пришлось принять одно условие: поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим

и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.

Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимаясь на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счёт. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня – одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой прикрикнуть. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издала пошла своей монетой на мою, и счёт сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдёт, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя – не то позор, позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах её пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, – там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

– Нет, – заявил я, – так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.

– Но я действительно не могу их достать, – стала отказываться она. – У меня пальцы какие-то деревянные.

– Можете.

– Хорошо, хорошо, я буду стараться.

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство – от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, исподтишка подталкивает её к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я

прекрасно вижу её чистой воды мошенничество, она как ни в чём не бывало продолжала двигать монету.

– Что вы делаете? – возмутился я.

– Я? А что я делаю?

– Зачем вы её подвинули?

– Да нет же, она тут и лежала, – самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи.

Вот это да! Учительница, называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да ещё и смеётся надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподаёт, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать-двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала ещё раз, и мы не мешкая переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко – теперь уже в мороженых кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском чёрного хлеба.

Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала её сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормозила меня.

Знать бы нам, чем это все кончится...

...Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счёте. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили.

– Пойми ты, голова садовая, – наползая на меня и Размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, – зачем мне тебя обманывать? Я веду счёт, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

– «Чика» не считово.

– Почему это не считово?

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донёсся удивлённый, если не сказать, поражённый, но твёрдый, звенящий голос:

– Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.

– Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, покрасневшая и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала:

– Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.

– Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? – объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор.

– Играем в «пристенок», – спокойно ответила Лидия Михайловна.

– Вы играете на деньги с этим?.. – Василий Андреевич ткнул меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. – Играете с учеником?! Я правильно вас понял?

– Правильно.

– Ну, знаете... – Директор задыхался, ему не хватало воздуха. – Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Раствление.

Совращение. И ещё, ещё... Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...

И он воздел над головой руки.

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.

– Поеду к себе на Кубань, – сказала она, прощаясь. – А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись, – она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я её никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл её, достав опять топор из-под лестницы, – аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашёл три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.

Виктор Пелевин. Синий фонарь

В палате было почти светло из-за горевшего за окном фонаря. Свет был какой-то синий и неживой, и если бы не луна, которую можно было увидеть, сильно наклоняясь с кровати вправо, было бы совсем жутко. Лунный свет разбавлял мертвенное сияние, конусом падавшее с высокого шеста, делал его таинственнее и мягче. Но когда я свешивался вправо, две железных ножки на секунду повисали в воздухе и в следующий момент громко ударялись в пол, и звук выходил мрачный, странным образом дополняющий синюю полосу света между двумя короткими рядами кроватей.

– Кончай там, – сказал Костыль и показал мне синеватый кулак, – не слышно.

Я стал слушать.

– Про мёртвый город знаете? – спросил Толстой. Все молчали. – Ну вот. Уехал один мужик в командировку на два месяца. Приезжает домой и вдруг видит, что все люди вокруг мёртвые.

– Чего, прямо лежат на улицах?

– Нет, – сказал Толстой, – они на работу ходят, разговаривают, в очереди стоят. Всё как раньше. Только он видит, что они все на самом деле мёртвые.

– А как он понял, что они мёртвые?

– Откуда я знаю, – ответил Толстой, – это же не я понял, а он. Как-то понял. Короче, он решил сделать вид, что ничего не замечает, и поехал к себе домой. У него жена была. Увидел он её и понял, что она тоже мёртвая. А он её очень сильно любил. Ну и стал он её расспрашивать, что случилось, пока его не было. А она ему отвечает, что ничего не случилось. И даже не понимает, чего он хочет. Тогда он решил ей всё рассказать и говорит: «Ты знаешь, что ты мёртвая?» А жена ему отвечает: «Знаю». Он спрашивает: «А ты знаешь, что в этом городе все мёртвые?» Она говорит: «Знаю. А сам-то ты знаешь, почему вокруг одни мертвецы?» Он говорит: «Нет». Она опять спрашивает: «А знаешь, почему я мёртвая?» Он опять говорит: «Нет». Она тогда спрашивает: «Сказать?» Мужик испугался, но всё-таки говорит: «Скажи». И она ему говорит: «Да потому что ты сам мертвец».

Последнюю фразу Толстой произнёс таким сухим и официальным голосом, что стало почти по-настоящему страшно.

– Да, съездил дядя в командировочку...

Это сказал Коля, совсем маленький мальчик – младше остальных на год или два. Правда, он не выглядел младше из-за того, что носил огромные роговые очки, придававшие ему солидность.

– Теперь ты рассказываешь, – сказал ему Костыль. – Раз первый заговорил.

– Сегодня такого уговора не было, – сказал Коля.

– А он вечный, – ответил Костыль, – давай, не тяни.

– Лучше я расскажу, – сказал Вася, – про синий ноготь знаете?

– Конечно, – отозвался шёпот из другого угла. – Кто ж про синий ноготь не знает.

– А про красное пятно знаете? – спросил Вася.

– Нет, не знаем, – ответил за всех Костыль, – давай.

– Раз приезжает семья в квартиру, – медленно заговорил Вася, – а на стене – красное пятно. Дети его заметили и позвали мать, чтоб показать. А мать молчит. Сама так смотрит и улыбается. Дети тогда отца позвали. «Смотри, – говорят, – папа!» А отец матери очень боялся. Он им говорит: «Пошли отсюда. Не ваше дело». А мать улыбается и молчит. Так спать и легли.

Вася замолчал и тяжело вздохнул.

– Ну и что дальше было? – спросил Костыль через несколько секунд тишины.

– Дальше утро было. Утром просыпаются, смотрят – а одного ребёнка нет. Тогда дети подходят к маме и спрашивают: «Мама, мама, где наш братик?» А мать отвечает: «Он к бабушке поехал. У бабушки он». Дети и поверили. Мать на работу ушла, а вечером приходит и улыбается. Дети ей говорят: «Мама, нам страшно!» А она опять так улыбается и говорит отцу: «Они меня не слушаются. Выпори их». Отец взял и выпорол. Дети даже убежать хотели, только их мать чем-то таким накормила на ужин, что они сидят и встать не могут...

Раскрылась дверь, и все мы мгновенно закрыли глаза и притворились спящими. Через несколько секунд дверь закрылась. Минуту Вася выжидал, пока в коридоре стихнут шаги.

– На следующее утро просыпаются – смотрят, ещё одного ребёнка нет. Одна только маленькая девочка осталась. Она у отца и спрашивает: «А где мой средний братик?» А отец отвечает: «Он в пионерлагере». А мать говорит: «Расскажешь кому – убью!» Даже в школу девочку не пустила. Вечером мать приходит, девочку чем-то опять накормила, так что та встать не могла. А отец двери запер и окна.

Вася опять затих. На этот раз его никто не просил продолжить, и в темноте было слышно только несколько дыханий.

– А потом другие люди приходят, – заговорил он опять, – смотрят, а квартира пустая. Прошёл год, и туда новых жильцов вселили. Они увидели красное пятно, подходят, разрезали обои – а там мать сидит, вся синяя, крови насосалась и вылезти не может. Это она всё время детей ела, а отец помогал.

Долгое время все молчали, а потом кто-то спросил: – Вася, а у тебя кем мама работает?

– Неважно, – сказал Вася.

– А у тебя сестра есть?

Вася не отвечал – видно, обиделся или заснул.

– Толстой, – сказал Костыль, – давай ещё что-нибудь про мертвецов.

– Знаете, как мертвецами становятся? – спросил Толстой.

– Знаем, – ответил Костыль, – берут и умирают.

– И что дальше?

– Ничего, – сказал Костыль, – как сон. Только уже не просыпаться.

– Нет, – сказал Толстой, – я не про это. С чего всё начинается, знаете?

– С чего?

– А с того, что сначала слушают истории про мертвецов. А потом лежат и думают – а чего это мы истории про мертвецов слушаем?

Кто-то нервно хихикнул, а Коля вдруг сел в кровати и очень серьёзно сказал:

– Ребята, кончайте.

– Во-во, – с удовлетворением сказал Толстой, – так и становятся. Главное – понять, что ты уже мертвец, а дальше всё просто.

– Ты сам мертвец, – неуверенно огрызнулся Коля.

– А я и не спорю, – сказал Толстой. – Ты лучше подумай, почему это ты вдруг с мертвецом разговариваешь?

Коля некоторое время думал. – Костыль, – спросил он, – ты ведь не мертвец?

– Я-то? – спросил Костыль. – Да как тебе сказать.

– А ты, Лёша? Лёша был колин друг ещё по городу.

– Коля, – сказал он, – ну ты сам подумай. Вот жил ты в городе, да?

– Да, – ответил Коля.

– И вдруг отвезли тебя в какое-то место, да?

– Да, – сказал Коля.

– И ты вдруг замечаешь, что лежишь среди мертвецов и сам мертвец.

– Да, – сказал Коля.

– Ну вот, – сказал Лёша, – пораскинь мозгами.

– Долго мы ждали, – сказал Костыль, – думали, сам поймёшь. За всю смерть такого тупого мертвеца первый раз вижу. Ты что, не понимаешь, зачем мы тут собрались?

– Нет, – сказал Коля. Он сидел на кровати, прижимая ноги к груди.

– Мы тебя в мертвецы принимаем, – сказал Костыль. Коля не то что-то пробормотал, не то всхлипнул, вскочил с кровати и пулей выскочил в коридор, оттуда долетел быстрый топот его босых ног.

– Не ржать, – шёпотом сказал Костыль, – он услышит.

– А чего ржать-то? – меланхолично спросил Толстой. Несколько длинных секунд стояла полная тишина, а потом Вася из своего угла спросил:

– Ребят, а вдруг...

– Да ладно тебе, – сказал Костыль. – Толстой, давай ещё чего-нибудь.

– Вот был такой случай, – заговорил Толстой после паузы. – Договорились несколько человек напугать своего приятеля. Переоделись они мертвецами, подходят к нему и говорят: «Мы мертвецы. Мы за тобой пришли». Он испугался и убежал. А они постояли, посмеялись, а потом один из них и говорит: «Слушайте, ребят, а чего это мы мертвецами переоделись?» Они все на него посмотрели и не могут понять, что он сказать хочет. А он опять: «А чего это от нас живые убегают?»

– Ну и что? – спросил Костыль.

– А то, – ответил Толстой. – Вот тут-то они всё и поняли.

– Что поняли?

– А что надо, то и поняли.

Стало тихо, а потом заговорил Костыль: – Слушай, Толстой, – сказал он, – ты нормально можешь рассказывать?

Толстой молчал. – Эй, Толстой, – опять заговорил Костыль, – ты чего молчишь-то? Умер, что ли?

Толстой молчал, и его молчание с каждой секундой становилось все многозначительней. Мне захотелось на всякий случай что-нибудь сказать вслух.

– Про программу «Время» знаете? – спросил я.

– Давай, – быстро сказал Костыль.

– Она не очень страшная, – сказал я.

– Всё равно давай.

Я не помнил точно, как кончалась история, которую я собирался рассказать, но решил, что вспомню, пока буду рассказывать.

– В общем, жил был один мужик, было ему лет тридцать. Сел он один раз смотреть программу «Время». Включил телевизор, подвинул кресло, чтоб удобней было. Там сначала появились часы – ну, как обычно. Он, значит, свои проверил – правильно ли идут. Всё как обычно было. Короче, пробило ровно девять часов. И появляется на экране слово «Время», только не белое, как всегда раньше было, а почему-то чёрное. Ну, он немножко удивился, но потом решил, что это просто новое оформление сделали, и стал смотреть дальше. А дальше всё опять было как обычно. Сначала какой-то трактор показали, потом израильскую армию. Потом сказали, что какой-то академик умер, потом немного показали про спорт, а потом про погоду – прогноз на завтра. Ну все, «Время» кончилось, и мужик решил встать с кресла.

– Потом напомните, я про зелёное кресло расскажу, – влез Вася.

– Значит, хочет он с кресла встать и чувствует, что не может. Сил совсем нет. Тогда он на свою руку поглядел и видит, что на ней вся кожа дряблая. Он тогда испугался, изо всех сил напрягся, встал с кресла и пошёл к зеркалу в ванную, а идти трудно... Но всё-таки кое-как

дошёл. Смотрит на себя в зеркало и видит – все волосы у него седые, лицо в морщинах и зубов нет. Пока он «Время» смотрел, вся жизнь прошла.

– Это я знаю, – сказал Костыль. – То же самое, только там про футбол с шайбой было. Мужик футбол с шайбой смотрел.

В коридоре послышались шаги и раздражённый женский голос, и все мы мгновенно стихли, а Вася даже начал неестественно храпеть. Через несколько секунд дверь распахнулась и в палате загорелся свет.

– Так, кто тут главный мертвец? Толстенко, ты? – На пороге стояла Антонина Васильевна в белом халате, а рядом с ней – зарёванный Коля, тщательно прячущий взгляд под батареей в углу.

– Главный мертвец, – с достоинством ответил Толстой, – в Москве на Красной площади. А чего это вы меня ночью будите?

От такой наглости Антонина Васильевна растерялась. – Входи, Аверьянов, – сказала она наконец, – и ложись. А с мертвецами завтра начальник лагеря разберётся. Как бы они по домам не поехали.

– Антонина Васильевна, – медленно выговорил Толстой, – а почему на вас халат белый?

– Потому что надо так, понял? – Коля быстро взглянул на Антонину Васильевну. – Иди в кровать, Аверьянов, – сказала она, – и спи. Мужчина ты или нет? А ты, – она повернулась к Толстому, – если ещё хоть слово скажешь, пойдёшь стоять голым в палату к девочкам. Понял?

Толстой молча смотрел на халат Антонины Васильевны. Она оглядела себя, потом подняла взгляд на Толстого и покрутила пальцем у лба. Потом внезапно разозлилась и даже покраснела от злости.

– Ты мне не ответил, Толстенко, – сказала она, – ты понял, что с тобой будет?

– Антонина Васильевна, – заговорил Костыль, – вы же сами сказали, что если он ещё хоть слово скажет, вы его... Как же он вам ответит?

– А с тобой, Костылев, – сказала Антонина Васильевна, разговор вообще будет особый, в кабинете директора. Запомни.

Погас свет, и хлопнула дверь. Некоторое время – минуты, наверно, три – Антонина Васильевна стояла за дверью и слушала. Потом послышались её тихие шажки по коридору. На всякий случай мы ещё минуту-две молчали. Потом раздался шёпот Костыля:

– Слушай, Коля, как ты от меня завтра в рог получишь...

– Я знаю, – печально отозвался Коля.

– Ой как получишь...

– Про зелёное кресло будете слушать? – спросил Вася. Никто не ответил.

– На одном большом предприятии, – заговорил он, – был кабинет директора. Там был ковёр, шкаф, большой стол и перед ним – зелёное кресло. А в углу кабинета стояло переходящее красное знамя, которое было там очень давно. И вот одного мужика назначили директором этого завода. Он входит в кабинет, посмотрел по сторонам, и ему очень всё понравилось. Ну, значит, сел он в это кресло и начал работать. А потом его заместитель заходит в комнату, смотрит – а вместо директора в кресле скелет сидит. Ну, вызвали милицию, всё обыскали и не нашли ничего. Потом, значит, назначили заместителя директором. Сел он в это кресло и стал работать. А потом в кабинет входят, смотрят – а в кресле опять скелет сидит. Опять вызвали милицию и опять ничего не нашли. Тогда нового директора назначили. А он уже знал, что с другими директорами случилось, и заказал себе большую куклу размером с человека. Он её одел в свой костюм и посадил в кресло, а сам отошёл, спрятался за штору – потом напомним, я про жёлтую штору вспомнил – и стал смотреть, что будет. Проходит час, два проходит. И вдруг он видит, как из кресла выдвигаются такие металлические спицы и со всех сторон куклу обхватывают. А одна такая спица – прямо за горло. А потом, когда спицы куклу задушили, переходящее красное знамя выходит из угла, подходит к креслу и накрывает эту куклу своим полотнищем. Прошло несколько минут, и от куклы ничего не осталось, а переходящее красное знамя отошло от стола и встало обратно в угол. Мужик тогда тихо вышел из кабинета, спустился вниз, взял с пожарного щита топор, вернулся в кабинет да как ру-

банёт по переходящему знамени. И тут такой стон раздался, а из деревяшки, которую он перерубил, на пол кровь полилась.

– А что дальше было? – спросил Костыль.

– Всё, – ответил Вася.

– А с мужиком что случилось?

– Посадили в тюрьму. За знамя.

– А со знаменем?

– Починили и назад поставили, – поразмышляв, ответил Вася.

– А когда нового директора назначили, что с ним случилось?

– То же самое. – Я вдруг вспомнил, что в кабинете у директора, в углу, стоят сразу несколько знамён с выведенными на них краской номерами отрядов, эти знамёна он уже два раза выдавал во время торжественных линеек. Кресло у него в кабинете тоже было, но не зелёное, а красное, вращающееся.

– Да, я забыл, – сказал Вася, – когда мужик из-за шторы вышел, он уже весь седой был. Про жёлтую штору знаете?

– Я знаю, – сказал Костыль.

– Толстой, ты про жёлтую штору знаешь? – Толстой молчал. – Эй, Толстой! – Толстой не отзывался.

Я думал о том, что у меня дома в Москве на окнах как раз висят жёлтые шторы – точнее, желто-зеленые. Летом, когда дверь балкона всё время открыта и снизу, с бульвара, долетает шум моторов и запах бензиновой гари, смешанный с запахом каких-то цветов, что ли, – я часто сижу возле балкона в зелёном кресле и смотрю, как ветер колыхает жёлтую штору.

– Слышь, Костыль, – неожиданно сказал Толстой, – а в мертвецы не так принимают, как ты думаешь.

– А как? – спросил Костыль.

– Да по-разному. Только при этом никогда не говорят, что принимают в мертвецы. И поэтому мертвецы потом не знают, что они уже мёртвые, и думают, что они ещё живые.

– Тебя что, уже приняли?

– Не знаю, – сказал Толстой. – Может, уже приняли. А может, потом примут, когда в город вернусь. Я ж говорю, они не сообщают.

– Кто «они»?

– Кто-кто. Мёртвые.

– Ну ты опять за своё, – сказал Костыль, – заткнулся бы. Надоело уже.

– Во-во, – подал голос Коля, – точно. Надоело.

– А ты, Коля, – сказал Костыль, – всё равно завтра в рог получишь.

Толстой немного помолчал. – Самое главное, – опять заговорил он, – что те, кто принимает, тоже не знают, что они принимают в мертвецы.

– Как же они тогда принимают? – спросил Костыль.

– Да как хочешь. Допустим, ты про что-то у кого-нибудь спросил или включил телевизор, а тебя на самом деле в мертвецы принимают.

– Я не про это. Они же должны знать, что они кого-то принимают, когда они принимают.

– Наоборот. Как они могут что-то знать, если они мёртвые.

– Тогда совсем непонятно получается, – сказал Костыль. Как тогда понять, кто мертвец, а кто живой?

– А ты что, не понимаешь?

– Нет, – ответил Костыль, – выходит, нет разницы.

– Ну вот и подумай, кто ты получаешься, – сказал Толстой. Костыль сделал какое-то движение в темноте, и что-то с силой стукнулось о стену над самой головой Толстого.

– Идиот, – сказал Толстой. – Чуть в голову не попал.

– А мы всё равно мёртвые, – сказал Костыль, – подумай.

– Мужики, – опять заговорил Вася, – про жёлтую штору рассказывать?

– Да иди ты нафиг со своей жёлтой шторой, Вася. Сто раз уже слышали.

– Я не слышал, – сказал из угла Коля.

– Ну и что, из-за тебя все слушать должны? А потом опять к Антонине побежишь плакать.

– Я плакал, потому что нога болит, – сказал Коля. – Я ногу ушиб, когда выходил.

– Ты, кстати, рассказывать должен был. Ты тогда заговорил первый. Думаешь, мы забыли? – сказал Костыль.

– Вместо меня Вася рассказал, – сказал Коля.

– Он не вместо тебя рассказал, а просто так. А сейчас твоя очередь. А то завтра точно в рог получишь.

– Знаете про чёрного зайца? – спросил Коля. Я почему-то сразу понял, о каком чёрном зайце он говорит: в коридоре перед столовой среди прочего висела фанерка с выжженным зайцем в галстук – из-за того, что рисунок был выполнен очень добросовестно и подробно, заяц действительно казался совсем чёрным.

– Вот. А говорил, не знаешь ничего. Давай.

– Был один пионерлагерь. И там на главном корпусе на стене были нарисованы всякие звери, и один из них был чёрный заяц с барабаном. У него в лапы почему-то были вбиты два гвоздя. И вот однажды шла мимо одна девочка – с обеда на тихий час. И ей стало этого зайца жалко. Она подошла и вынула гвозди. И ей вдруг показалось, что чёрный заяц на неё смотрит, словно он живой. Но она решила, что это ей показалось, и пошла в палату. Начался тихий час. И тогда чёрный заяц вдруг начал бить в свой барабан. И сразу же все, кто был в этом лагере, заснули. И им стало сниться, что тихий час кончился, что они проснулись и пошли на полдник. Потом они вроде бы стали делать всё как обычно – играть в пинг-понг, читать и так далее. А это им всё снилось. Потом кончилась смена, и они поехали по домам. Потом они все выросли, кончили школу, женились и стали работать и воспитывать детей. А на самом деле они просто спали. И чёрный заяц всё время бил в свой барабан.

Коля замолчал.

– Что-то непонятно, – сказал Костыль. – Вот ты говоришь, что они разъехались по домам. Но ведь там у них родители, знакомые ребята. Они что, тоже спали?

– Нет, – сказал Коля. – Они не то что спали. Они снились.

– Полный бред, – сказал Костыль. – Ребят, вы что-нибудь поняли?

Никто не ответил. Похоже, почти все уже заснули.

– Толстой, ты понял что-нибудь? – Толстой заскрипел своей кроватью, нагнулся к полу и швырнул что-то в Колю.

– Ну и сволочь ты, – сказал Коля. – Сейчас в морду получишь.

– Отдай сюда, – сказал Костыль. Это был его кед, которым он перед этим швырнул в Толстого.

Коля отдал кед.

– Эй, – сказал мне Костыль, – ты чего молчишь всё время?

– Так, – сказал я. – Спать охота. Костыль заворочался в кровати. Я думал, он скажет что-то ещё, но он молчал. Все молчали. Что-то пробормотал во сне Вася.

Я глядел в потолок. За окном качалась лампа фонаря, и вслед за ней двигались тени в нашей палате. Я повернулся лицом к окну. Луны уже не было видно. Вокруг было совсем тихо, только где-то очень далеко дробно стучали колеса ночной электрички. Я долго глядел на синий фонарь за окном и сам не заметил, как заснул.

Роберт Шекли. АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ

Robert Sheckley. The Last Weapon. 1953

Перевод Ю. Виноградова

Эдселю хотелось кого-нибудь убить. Вот уже три недели работал он с Парком и Факсоном в этой мёртвой пустыне. Они раскапывали каждый курган, попадавшийся им на пути, ничего не находили и шли дальше. Короткое марсианское лето близилось к концу. С каждым днём становилось все холоднее, с каждым днём нервы у Эдселя, и в

лучшие времена не очень-то крепкие, понемногу сдавали. Коротышка Факсон был весел – он мечтал о куче денег, которые они получают, когда найдут оружие, а Парк молча тащился за ними, словно железный, и не произносил ни слова, если к нему не обращались.

Эдсель был на пределе. Они раскопали ещё один курган и опять не нашли ничего похожего на затерянное оружие марсиан. Водянистое солнце тарасилось на них, на невероятно голубом небе были видны крупные звезды. Сквозь утеплённый скафандр Эдселя начал просачиваться вечерний холодок, леденя суставы и сковывая мышцы.

Внезапно Эдселя охватило желание убить Парка. Этот молчаливый человек был ему не по душе ещё с того времени, когда они организовали партнёрство на Земле. Он ненавидел его больше, чем презирал Факсона.

Эдсель остановился.

– Ты знаешь, куда нам идти? – спросил он Парка зловеще низким голосом.

Парк только пожал плечами. На его бледном, худом лице ничего не отразилось.

– Куда мы идём, тебя спрашивают? – повторил Эдсель.

Парк опять молча пожал плечами.

– Пулю ему в голову, – решил Эдсель и потянулся за пистолетом.

– Подожди, Эдсель, – умоляющим тоном сказал Факсон, становясь между ними, – не выходи из себя. Ты только подумай о том, сколько мы загребём денег, если найдём оружие! – От этой мысли глаза маленького человечка загорелись. – Оно где-то здесь, Эдсель. Может быть, в соседнем кургане.

Эдсель заколебался, пристально поглядел на Парка. Знай он там, на Земле, что всё получится именно так! Тогда все казалось лёгким. У него был свиток, а в свитке... сведения о том, где спрятан склад легендарного оружия марсиан. Парк умел читать по-марсиански, а Факсон дал деньги для экспедиции. Эдсель думал, что им только нужно долететь до Марса и пройти несколько шагов до места, где хранится оружие.

До этого Эдсель ещё ни разу не покидал Земли. Он не рассчитывал, что ему придётся пробыть на Марсе так долго, замерзать от ледяного ветра, голодать, питаясь безвкусными концентратами, всегда испытывать головокружение от разреженного скудного воздуха, проходящего через обогатитель. Он не думал тогда о натруженных мышцах, ноющих оттого, что всё время надо продирааться сквозь густые марсианские заросли.

Он думал только о том, какую цену заплатит ему правительство, любое правительство, за это легендарное оружие.

– Извините меня, – сказал Эдсель, внезапно сообразив что-то, – это место действует мне на нервы. Прости, Парк, что я сорвался. Веди дальше.

Парк молча кивнул и пошёл вперёд. Факсон вздохнул с облегчением и двинулся за Парком. «В конце концов, – рассуждал про себя Эдсель, – убить их я могу в любое время».

Они нашли курган к вечеру, как раз тогда, когда терпение Эдселя подходило к концу. Это было странное, массивное сооружение, выглядывшее точно так, как написано в свитке. На металлических стенках осел толстый слой пыли. Они нашли дверь.

– Дайте-ка я её высажу, – сказал Эдсель и начал вытаскивать пистолет. Парк оттеснил его и, повернув ручку, открыл дверь. Они вошли в огромную комнату, где грудями лежало сверкающее легендарное марсианское оружие, остатки марсианской цивилизации.

Люди стояли и молча смотрели по сторонам. Перед ними лежало сокровище, от поисков которого все уже давно отказались. С того времени, когда человек высадился на Марсе, развалины великих городов были тщательно изучены. По всей равнине лежали сломанные машины, боевые колесницы, инструменты, приборы – все говорило о цивилизации, на тысячи лет опередившей земную. Кропотливо расшифрованные письма рассказали о жестоких войнах, бушевавших на этой планете. Однако в них не говорилось, что произошло с марсианами. Уже несколько тысячелетий на Марсе не было ни одного разумного существа, не осталось даже животных.

Они сделали несколько шагов в глубь комнаты. Эдсель поднял первое, что ему попало под руку. Похоже на пистолет 45-го калибра, только крупнее. Он подошёл к раскрытой двери и направил оружие на росший неподалёку куст.

– Не стреляй! – испуганно крикнул Факсон, когда Эдсель прицелился. – Оно может взорваться или ещё что-нибудь. Пусть им занимаются специалисты, когда мы всё это продадим.

Эдсель нажал на спусковой рычаг. Куст, росший в семидесяти пяти футах от входа, исчез в ярко-красной вспышке.

– Неплохо, – заметил Эдсель, ласково погладил пистолет и, положив его на место, взял следующий.

– Ну хватит, Эдсель, – умоляюще сказал Факсон, – нет смысла испытывать здесь. Можно вызвать атомную реакцию или ещё что-нибудь.

– Заткнись, – бросил Эдсель, рассматривая спусковой механизм нового пистолета.

– Не стреляй больше, – просил Факсон. Он умоляюще поглядел на Парка, ища его поддержки, но тот молча смотрел на Эдсея.

– Ведь что-то из того, что здесь лежит, возможно, уничтожило всю марсианскую расу. Ты снова хочешь заварить кашу, – продолжал Факсон.

Эдсель опять выстрелил и с удовольствием смотрел, как вдали плавился кусок пустыни.

– Хороша штучка! – Он поднял ещё что-то, по форме напоминающее длинный жезл. Холода он больше не чувствовал. Эдсель забавлялся этими блестящими штучками и был в прекрасном настроении.

– Пора собираться, – сказал Факсон, направляясь к двери.

– Собираться? Куда? – медленно спросил его Эдсель.

Он поднял сверкающий инструмент с изогнутой рукояткой, удобно уместающейся в ладони.

– Назад, в космопорт, – ответил Факсон, – домой, продавать всю эту амуницию, как мы и собирались. Уверен, что мы можем запросить

любую цену. За такое оружие любое правительство отвалит миллионы.

– А я передумал, – задумчиво протянул Эдсель. Краем глаза он наблюдал за Парком.

Тот ходил между грудями оружия, но ни к чему не прикасался.

– Послушай-ка, парень, – злобно сказал Факсон, глядя Эдселю в глаза, – в конце концов я финансировал экспедицию. Мы же собирались продать это барахло. Я ведь тоже имею право... То есть нет, я не то хотел сказать... – Ещё не испробованный пистолет был нацелен ему прямо в живот. – Ты что задумал? – пробормотал он, стараясь не смотреть на странный блестящий предмет.

– Ни черта я не собираюсь продавать, – заявил Эдсель. Он стоял, прислонившись к стенке так, чтобы видеть обоих. – Я ведь и сам могу использовать эти штуки.

Он широко ухмыльнулся, не переставая наблюдать за обоими партнёрами.

– Дома я раздам оружие своим ребятам. С ним мы запросто скинем какое-нибудь правительство в Южной Америке и продержимся, сколько захотим.

– Ну хорошо, – упавшим голосом сказал Факсон, не спуская глаз с направленного на него пистолета. – Только я не желаю участвовать в этом деле. На меня не рассчитывай.

– Пожалуйста, – ответил Эдсель.

– Ты только ничего не думай, я не собираюсь об этом болтать, – быстро проговорил Факсон. – Я не буду. Просто не хочется стрелять и убивать. Так что я лучше пойду.

– Конечно, – сказал Эдсель.

Парк стоял в стороне, внимательно рассматривая свои ногти.

– Если ты устроишь себе королевство, я к тебе приеду в гости, – сказал Факсон, делая слабую попытку улыбнуться. – Может быть, сделаешь меня герцогом или ещё кем-нибудь.

– Может быть.

– Ну и отлично. Желаю тебе удачи. – Факсон помахал ему рукой и пошёл к двери.

Эдсель дал ему пройти шагов двадцать, затем поднял оружие и нажал на кнопку. Звук не последовало, вспышки тоже, но у Факсона правая рука была отсечена начисто. Эдсель быстро нажал кнопку ещё раз. Маленького человечка рассекло надвое. Справа и слева от него на почве остались глубокие борозды.

Эдсель вдруг сообразил, что всё это время он стоял спиной к Парку, и круто повернулся. Парк мог бы схватить ближайший пистолет и разнести его на куски. Но Парк спокойно стоял на месте, скрестив руки на груди.

– Этот луч пройдёт сквозь что угодно, – спокойно заметил он. – Полезная игрушка.

Полчаса Эдсель с удовольствием таскал к двери то одно, то другое оружие. Парк к нему даже не притрагивался, с интересом наблюдая за Эдселем. Древнее оружие марсиан было как новенькое; на нем не сказались тысячи лет бездействия. В комнате было много оружия разного типа, разной конструкции и мощности. Изумительно компактные тепловые и радиационные автоматы, оружие, мгновенно замораживающее, и оружие сжигающее, оружие, умеющее рушить, резать, коагулировать, парализовать и другими способами убивать все живое.

– Давай-ка попробуем это, – сказал Парк.

Эдсель, собиравшийся испытать интересное трёхствольное оружие, остановился.

– Я занят, не видишь, что ли?

– Перестань возиться с этими игрушками. Давай займёмся серьёзным делом.

Парк остановился перед низкой чёрной платформой на колёсах. Вдвоём они выкатили её наружу. Парк стоял рядом и наблюдал, как Эдсель поворачивал рычажки на пульте управления. Из глубины машины раздалось негромкое гудение, затем её окутал голубоватый туман. Облако тумана росло по мере того, как Эдсель поворачивал рыча-

жок, и накрыло обоих людей, образовав нечто вроде правильного полушария.

– Попробуй-ка пробить её из бластера, – сказал Парк. Эдсель выстрелил в окружающую их голубую стену. Заряд был полностью поглощён стеной. Эдсель испробовал на ней ещё три разных пистолета, но они тоже не могли пробить голубоватую прозрачную стену.

– Сдаётся мне, – тихо произнёс Парк, – что такая стена выдержит и взрыв атомной бомбы. Это, видимо, мощное силовое поле.

Эдсель выключил машину, и они вернулись в комнату с оружием. Солнце приближалось к горизонту, и в комнате становилось всё темнее. – А знаешь что? – сказал вдруг Эдсель. – Ты неплохой парень, Парк. Парень что надо.

– Спасибо, – ответил Парк, рассматривая кучу оружия.

– Ты не сердись, что я разделался с Факсоном, а? Он ведь собрался донести на нас правительству.

– Наоборот, я одобряю.

– Уверен, что ты парень что надо. Ты мог бы меня убить, когда я стрелял в Факсона. – Эдсель умолчал о том, что на месте Парка он так бы и поступил.

– С этим все довольно ясно, – продолжал Парк, – варианты того, что мы уже видели.

В углу комнаты они заметили дверь. На ней виднелась надпись на марсианской языке.

– Что тут написано? – спросил Эдсель.

– Что-то насчёт абсолютного оружия, – ответил Парк, разглядывая тщательно выписанные буквы чужого языка, – предупреждают, чтобы не входили.

Парк открыл дверь. Они хотели войти, но от неожиданности отпрянули назад.

За дверью был зал, раза в три больше, чем комната с оружием, и вдоль всех стен, заполняя его, стояли солдаты. Роскошно одетые, вооружённые до зубов, солдаты стояли неподвижно, словно статуи. Они не проявляли никаких признаков жизни.

У входа стоял стол, а на нем три предмета: шар размером с кулак, с нанесёнными на нем делениями, рядом – блестящий шлем, а за ним – небольшая чёрная шкатулка с марсианскими буквами на крышке.

– Это что – усыпальница? – прошептал Эдсель, с благоговением глядя на резко очерченные неземные лица марсианских воинов.

Парк, стоявший позади него, не ответил. Эдсель подошёл к столу и взял в руки шар. Осторожно повернул стрелку на одно деление.

– Как ты думаешь, что они должны делать? – спросил он Парка. – Ты думаешь...

Они оба вздрогнули и попятнулись. По рядам солдат прокатилось движение. Они качнулись и застыли в позе «смирно». Древние воины ожили.

Один из них, одетый в пурпурную с серебром форму, вышел вперёд и поклонился Эдселю.

– Господин, наши войска готовы.

Эдсель от изумления не мог найти слов.

– Как вам удалось остаться живыми столько лет? – спросил Парк. – Вы марсиане?

– Мы слуги марсиан, – ответил воин.

Парк обратил внимание на то, что, когда солдат говорил, губы его не шевелились. Марсианские солдаты были телепатами.

– Мы Синтеты, господин.

– Кому вы подчиняетесь?

– Активатору, господин. – Синтет говорил, обращаясь непосредственно к Эдселю, глядя на прозрачный шар в его руках. – Мы не нуждаемся в пище или сне, господин. Наше единственное желание – служить вам и сражаться.

Солдаты кивнули в знак одобрения.

– Веди нас в бой, господин...

– Можете не беспокоиться, – сказал Эдсель, придя, наконец, в себя. – Я вам, ребята, покажу, что такое настоящий бой, будьте уверены.

Солдаты торжественно трижды прокричали приветствие. Эдсель ухмыльнулся, оглянувшись на Парка.

– А что обозначают остальные деления на циферблате? – спросил Эдсель.

Но солдат молчал. Видимо, вопрос не был предусмотрен введённой в него программой.

– Может быть, они активируют других Синтетов, – сказал Парк. – Наверное, внизу есть ещё залы с солдатами.

– И вы ещё спрашиваете, поведу ли я вас в бой? Ещё как поведу! Солдаты ещё раз торжественно прокричали приветствие.

– Усыпи их и давай продумаем план действий, – сказал Парк.

Эдсель, все ещё ошеломлённый, повернул стрелку назад. Солдаты замерли, словно превратившись в статуи.

– Пойдём назад.

– Ты, пожалуй, прав.

– И захвати с собой всё это, – сказал Парк, показывая на стол.

Эдсель взял блестящий шлем и чёрный ящик и вышел наружу вслед за Парком. Солнце почти скрылось за горизонтом, и над красной пустыней протянулись чёрные длинные тени. Было очень холодно, но они этого не чувствовали.

– Ты слышал. Парк, что они говорили? Слышал? Они сказали, что я их вождь! С такими солдатами...

– Я генерал! – крикнул Эдсель и надел шлем на голову.

– Как, идёт мне. Парк? Похож я...

Он замолчал. Ему послышалось, будто кто-то что-то шепчет, бормочет. Что это?

– ... проклятый дурак. Тоже придумал королевство! Такая власть – это для гениального человека, человека, который способен переделать историю. Для меня!

– Кто это говорит? Ты, Парк? А? – Эдсель внезапно понял, что с помощью шлема он мог слышать чужие мысли, но у него уже не осталось времени осознать, какое это было бы оружие для правителя мира.

Парк аккуратно прострелил ему голову. Все это время пистолет был у него в руке.

«Что за идиот! – подумал про себя Парк, надевая шлем. – Королевство! Тут вся власть в мире, а он мечтает о каком-то вшивом королевстве». Он обернулся и посмотрел на пещеру.

«С такими солдатами, силовым полем и всем оружием я завоюю весь мир». Он думал об этом спокойно, зная, что так оно и будет.

Он собрался было назад, чтобы активировать Синтетов, но остановился и поднял маленькую чёрную шкатулку, выпавшую из рук Эдсея.

На её крышке стремительным марсианским письмом было выгравировано: «Абсолютное оружие».

«Что бы это могло означать?» – подумал Парк. Он позволил Эдселю прожить ровно столько, чтобы испытать оружие. Нет смысла рисковать лишний раз. Жаль, что он не успел испытать и этого.

Впрочем, и не нужно. У него и так хватает всякого оружия. Но вот это, последнее, может облегчить задачу, сделать её гораздо более безопасной. Что бы там ни было, это ему, несомненно, поможет.

– Ну, – сказал он самому себе, – давай-ка посмотрим, что считают абсолютным оружием сами марсиане, – и открыл шкатулку.

Из неё пошёл лёгкий пар. Парк отбросил шкатулку подальше, опасаясь, что там ядовитый газ.

Пар прошёл струёй вверх и в стороны, затем начал сгущаться. Облако ширилось, росло и принимало какую-то определённую форму.

Через несколько секунд оно приняло законченный вид и застыло, возвышаясь над шкатулкой. Облако поблескивало металлическим отсветом в угасающем свете дня, и Парк увидел, что это огромный рот под двумя немигающими глазами.

– Хо-хо! – сказал рот. – Протоплазма! – Он потянулся к телу Эдсея.

Парк поднял дезинтегратор и тщательно прицелился.

– Спокойная протоплазма, – сказала чудовище, пожирая тело Эдселя, – мне нравится спокойная протоплазма, – и чудовище заглотало тело Эдселя целиком.

Парк выстрелил. Взрыв вырыл десятифутовую воронку в почве. Из неё выплыл гигантский рот.

– Долго же я ждал! – сказал рот.

Нервы у Парка сжались в тугой комок. Он с трудом подавил в себе надвигающийся панический ужас. Сдерживая себя, он не спеша включил силовое поле, и голубой шар окутал его.

Парк схватил пистолет, из которого Эдсель убил Факсона, и почувствовал, как удобно легла в его руку прикладистая рукоятка. Чудовище приближалось. Парк нажал на кнопку, и из дула вырвался прямой луч...

Оно продолжало приближаться.

– Сгинь, исчезни! – завизжал Парк. Нервы у него начали рваться.

Оно приближалось с широкой ухмылкой.

– Мне нравится спокойная протоплазма, – сказала Оно, и гигантский рот сомкнулся над Парком, – но мне нравится и активная протоплазма.

Оно глотнуло и затем выплыло сквозь другую стенку поля, оглядываясь по сторонам в поисках миллионов единиц протоплазмы, как бывало давным-давно.

Николай Семёнович Лесков. Человек на часах (1839 г.)

Глава первая

Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.

Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любо-

пытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.

Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.

Глава вторая

Зимой, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть; снег таял, с крыш падали днём капли, а лёд на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный; со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки.

Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которую командовал блестяще образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер, Николай Иванович Миллер (впоследствии полный генерал и директор лицей). Это был человек с так называемым «гуманным» направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства.

На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошёл весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников.

Глава третья

Сначала в карауле все шло хорошо: посты распределены, люди расставлены, и всё обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лёг в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В кордегардии* тишина. Капитан Миллер приколот булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной сафьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой.

Н. И. Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь; но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство: пред ним является разводный унтер-офицер и, весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой:

– Беда, ваше благородие, беда!

– Что такое?!

– Страшное несчастье постигло!

Н. И. Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались «беда» и «страшное несчастье».

Глава четвертая

Дело заключалось в следующем: часовой, солдат Измайловского полка, по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услышал, что в полынье, которую против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи.

Солдат Постников, из дворовых господских людей, был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдалённые крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда на всё видимое ему пространство набережной и ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души.

Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальётся...

А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется.

Уж одно бы ему, кажется, – не тратя сил, спуститься на дно, так ведь нет! Его изнемождённые стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек ещё не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, всё-таки не спасётся, потому что именно тут на этом пути он попадёт в иорданскую прорубь. Там ему нырок под лёд и конец... Вот и

опять стих, а через минуту снова полощется и стонет: «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется...

Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лёд, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему верёвку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасён. Он так близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу и присягу; он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки.

С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное; так и ноет, так и стучит, так и замирает... Хоть вырви его да сам себе под ноги брось, – так беспокоино с ним делается от этих стонов и воплей... Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит и ничто иное вредное не случится. «Иль сбежать, а?.. Не увидят?.. Ах, господи, один бы конец! Опять стонет...»

За один получас, пока это длилось, солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать «сомнения рассудка». А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которую сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй шпиц-рутенами и каторжная работа, а может быть даже и «расстрел»; но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.

– Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!

Тут вот сейчас и есть иорданская прорубь... Конец!

Постников ещё раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают, да по ветру, прерываясь, долетает этот крик... может быть, последний крик...

Вот ещё всплеск, ещё однозвучный вопль, и в воде забулькотало. Часовой не выдержал и покинул свой пост.

Глава пятая

Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющимся сердцем на лёд, потом в наплывшую воду полыньи и, скоро рассмотрев, где бьётся заливающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья.

Утопавший схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег.

Спасённый и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасённый был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его, солдат Постников, не решился его бросить на лёду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока всё это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер существовавшей тогда придворной инвалидной команды (впоследствии упразднённой).

Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший господин был, надо полагать, человек очень легкомысленного характера, и притом немножко бестолковый, и изрядный наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать:

- Что за человек... что за люди?
- Тонул, заливался, – начал было Постников.
- Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте?

А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет: он взял ружье на плечо и опять стал в будку.

Смекнул или нет офицер, в чем дело, но он больше не стал исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасённого человека и покатил с ним на Морскую в съезжий дом Адмиралтейской части.

Тут офицер сделал приставу заявление, что привезённый им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасён им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни.

Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, иззябший и изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его.

Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и, с свойственной полицейским людям подозрительностью, недоумевали, как он сам весь сух из воды вышел? А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль «за спасение погибавших», объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки.

А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие, быстрые течения.

Глава шестая

В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасённого утопленника в свои сани были неизвестны. Там измайловский офицер и солдаты знали только то, что их солдат, Постников, оставив будку, кинулся спасать человека, и как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь непременно пойдёт под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться.

Мокрый и дрожащий солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменён с поста и, будучи приведён в кордегардию, чистосердечно рассказал Н. И. Миллеру всё, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасённого утопленника и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть.

Опасность становилась всё больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер всё расскажет приставу, а пристав тотчас же доведёт об этом до сведения обер-полицеймейстера Кокошкина, а тот доложит утром государю, и пойдёт «горячка».

Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к делу старших.

Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиныну, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульную и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде.

Это было уже около трёх часов, а Кокошкин являлся с докладом к государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени.

Глава седьмая

Подполковник Свинын не имел той жалостливости и того мягкосердечия, которые всегда отличали Николая Ивановича Миллера; Свинын был человек не бессердечный, но прежде всего и больше всего «службист» (тип, о котором нынче опять вспоминают с сожалением). Свинын отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью дисциплины. Он не имел вкуса ко злу и никому не искал причинить напрасное страдание; но если человек нарушал какую бы то ни было обязанность службы, то Свинын был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в караульной роте все знали, что придётся претерпеть рядовому Постникову за оставление своего поста, то он и оттерпит, и Свинын об этом скорбеть не станет.

Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди не симпатизировавшие Свиныну, потому что тогда ещё не совсем вывелся «гуманизм» и другие ему подобные заблуждения. Свинын был равнодушен к тому, порицают или хвалят его «гуманисты». Просить и умолять Свинына или, даже пытаться его разжалобить – было дело совершенно бесполезное. От всего этого он был закалён крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него, как у Ахиллеса, было слабое место.

Свинын тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем, чтобы на неё, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села; а между тем не-

счастливая выходка человека из вверенного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что один из его солдат сделал под влиянием увлечения благороднейшим состраданием, – этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свинына, а многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протезируемого людьми в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него «слабые офицеры», что у них «люди распущены». А кто это наделал? – Свинын. Вот так это и пойдёт повторяться, что «Свинын слаб», и так, может, покор слабостью и останется несмыслимым пятном на его, Свинына, репутации. Не быть ему тогда ничем достопримечательным в ряду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства Российского.

Изучением истории тогда хотя мало занимались, но, однако, в неё верили, и особенно охотно сами стремились участвовать в её сочинении.

Глава восьмая

Как только Свинын получил около трёх часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и, под влиянием страха и гнева, прибыл в караульную Зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвёл допрос рядовому Постникову и убедился, что невероятный случай совершился. Рядовой Постников опять вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному командиру всё то же самое, что произошло на его часах и что он, Постников, уже раньше показал своему ротному капитану Миллеру. Солдат, говорил, что он «богу и государю виноват без милосердия», что он стоял на часах и, слышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и, наконец, на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы: покинул будку, соскочил на лёд и вытащил тонувше-

го на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды.

Подполковник Свињин был в отчаянии; он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свей гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру, попрекнув его «гуманерией», которая ни на что не пригодна в военной службе; но всё это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Подыскать если не оправдание, то хотя извинение такому поступку, как оставление часовым своего поста, было невозможно, и оставался один исход — скрыть всё дело от государя...

Но есть ли возможность скрыть такое происшествие?

По-видимому, это представлялось невозможным, так как о спасении погибавшего знали не только все караульные, но знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома генерала Кокоскина.

Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать помощи и защиты?

Свињин хотел скакать к великому князю Михаилу Павловичу и рассказать ему всё чистосердечно. Такие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь, по своему пылкому характеру, рассердится и накричит, но его нрав и обычай были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости и даже тяжко обидит, тем он потом скорее смилуется и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. «Брань на врату не висла», и Свињин очень хотел бы свести дело к этому благоприятному положению, но разве можно ночью доступить во дворец и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явиться к Михаилу Павловичу после того, когда Кокоскин побывает с докладом у государя, будет уже поздно. И пока Свињин волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его начал прозревать ещё один выход, до сей поры скрывавшийся в тумане.

Глава девятая

В ряду известных военных приёмов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стен осаждаемой крепости, не удаляться от неё, а прямо идти под её стенами. Свињин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину.

Об обер-полицеймейстере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но, между прочим, утверждали, что он обладает удивительным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только «умеет сделать из мухи слона, но так же легко умеет сделать из слона муху».

Кокошкин в самом деле был очень суров и очень грозен и внушал всем большой страх к себе, но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шалунов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в его лице могущественного и усердного защитника. Вообще он много мог и много умел сделать, если только захочет. Таким его знали и Свињин и капитан Миллер. Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважиться на то, чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его великодушию и его «многостороннему такту», который, вероятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокошкин, к чести его, всегда избегал с большим старанием.

Свињин надел шинель, устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз: «Господи, господи!» – поехал к Кокошкину.

Это был уже в начале пятый час утра.

Глава десятая

Обер-полицеймейстера Кркошкина разбудили и доложили ему о Свињине, приехавшем по важному и не терпящему отлагательств делу.

Генерал немедленно встал и вышел к Свињину в архалучке, потирая лоб, зевая и ёжась. Всё, что рассказывал Свињин, Кокошкин

выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во всё время этих объяснений и просьб о снисхождении произнёс только одно:

– Солдат бросил будку и спас человека?

– Точно так, – отвечал Свиньин.

– А будка?

– Оставалась в это время пустою.

– Гм... Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что её не украли.

Свиньин из этого ещё более уверился, что ему уже всё известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решения этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического обер-полицеймейстера.

Но Кокоскин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасённым утопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого обер-полицеймейстера, да и притом самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал утопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только честолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей.

Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер.

Спокойствие же Кокоскина объяснялось просто, во-первых, страшную усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-

вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его, г-на обер-полицеймейстера, прямо не касалось.

Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение.

Он послал за приставом Адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасённым утопленником, а Свинына просил подождать в маленькой приёмной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собою дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги; но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле.

Глава одиннадцатая

Тогда ещё не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям «сорок тысяч курьеров», о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя.

Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства.

Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасённый утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей.

Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свинына.

– Протокол? – односложно спросил освеженным голосом у пристава Кокошкин.

Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо прошептал:

– Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету...

– Хорошо.

Кокошкин отошёл в амбразуру окна, а за ним пристав.

– Что такое?

Послышался неясный шёпот пристава и ясные побрякивания генерала...

– Гм... Да!.. Ну что ж такое?.. Это могло быть... Они на том стоят, чтобы сухими выскакивать... Ничего больше?

– Ничего-с.

Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твёрдым вопросом к спасённому:

– Как ты, братец, попал в полынью против дворца?

– Виноват, – отвечал спасённый.

– То-то! Был пьян?

– Виноват, пьян не был, а был выпимши.

– Зачем в воду попал?

– Хотел перейти поближе через лёд, сбился и попал в воду.

– Значит, в глазах было темно?

– Темно, кругом темно было, ваше превосходительство!

– И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?

– Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется. – Он указал на офицера и добавил: – Я не мог рассмотреть, был испужамшись.

– То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благородный человек жертвовал за тебя своею жизнью!

– Век буду помнить.

– Имя ваше, господин офицер?

Офицер назвал себя по имени.

– Слышишь?

– Слушаю, ваше превосходительство.

– Ты православный?

– Православный, ваше превосходительство.

– В поминанье за здравие это имя запиши.

– Запишу, ваше превосходительство.

– Молись богу за него и ступай вон; ты больше не нужен.

Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили.

Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все принимает милостию божиею!

Глава двенадцатая

Кокошкин обратился к инвалидному офицеру:

– Вы спасли этого человека, рискуя собственной жизнью?

– Точно так, ваше превосходительство.

– Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть?

– Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых.

– О часовых незачем поминать: часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?

Слова эти Кокошкин произнёс с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул.

Но офицер не сробел, а, вылупив глаза и выпучив грудь, ответил:

– С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство.

– Ваш поступок достоин награды.

Тот начал благодарно кланяться.

– Не за что благодарить, – продолжал Кокошкин. – Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь тёплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобятся.

Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел.

Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:

– Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть.

– Слушаю-с, – отвечал понятиливо пристав.

– Вы мне больше не нужны.

Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас, по набожной привычке, перекрестился.

Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более тёплых отношениях, чем когда сюда вступали.

В кабинете у обер-полицеймейстера остался один Свињин, на которого Кokoшкин сначала посмотрел долгим, пристальным взглядом и потом спросил;

– Вы не были у великого князя?

В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу.

– Я прямо явился к вам, – отвечал Свињин.

– Кто караульный офицер?

– Капитан Миллер.

Кokoшкин опять окинул Свињина взглядом и потом сказал:

– Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили.

Свињин даже не понял, к чему это относится и промолчал, а Кokoшкин добавил:

– Ну всё равно, спокойно почивайте.

Аудиенция кончилась.

Глава тринадцатая

В час пополудни инвалидный офицер действительно был опять потребован к Кokoшкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди, и жалуется ему медаль «за спасение погибавших». При сем Кokoшкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошёл щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свињин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить *point sur les i*.

Он был так встревожен, что три дня проболел, а на четвёртый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный мо-

лебен перед иконою спасителя и, возвратясь домой с успокоенною душой, послал попросить к себе капитана Миллера.

– Ну, слава богу, Николай Иванович, – сказал он Миллеру, – теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы, без сомнения, обязаны сначала милосердию божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нём говорят, что он и недобрый и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвостовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне, но ничего иного не оставалось: им нужно было воспользоваться для спасения многих, и Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности, – напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною. Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего, но маленький недочёт есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтоб оградить себя на всякий случай впоследствии. Есть ещё одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление.

– Да, пора! – подсказал обрадованный Миллер.

– Ну, конечно, и вам это всех лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем двумя стами розог.

Глава четырнадцатая

Миллер изумился и сделал попытку склонить Свиньина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет; но Свиньин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать.

– Нет, – перебил он, – это оставьте: я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставьте это!

Свиньин переменял тон на более сухой и официальный и добавил с твёрдостью:

– А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации в ваших подчинённых, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьёзно... как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счёт гвардейским либерализмом: они товарища не секут как должно, а только блох у него за спиною пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан.

Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира.

Рота была выстроена на дворе измайловских казарм, розги принесены из запаса вдовольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников «был сделан» при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выставили на нем все *point sur les*, в полной мере определённые ему его батальонным командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно от-

сюда на той же шинели, на которой его секли, перенесён в полковой лазарет.

Глава пятнадцатая

Батальонный командир Свиньин, по получении донесения об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был «сделан как следует», Свиньин остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал:

– Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отеческую милость.

И он в самом деле был «доволен», потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести розог, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда; а такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастью его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюций, о которых выше рассказано.

Но число всех довольных рассказанным происшествием этим не ограничилось.

Глава шестнадцатая

Под сурдинкою подвиг рядового Постникова расположся по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В устных передачах имя настоящего героя – солдата Постникова утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтический характер.

Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили: один

– должную награду, а другой – заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошёл и до подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный к «светским событиям» владыко, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свиных.

Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасать из волн Невы, то почему о нём мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и «суесловят», но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьёзнее и знают о светских делах самое настоящее.

Глава семнадцатая

Однажды, когда Свиный случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним «кстати о выстреле». Свиный рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали «кстати о выстреле».

Владыко выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими белянькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же Свиный кончил, владыко тихо журчащею речью произнёс:

– Посему надлежит заключить, что в сем деле не всё и не везде излагалось согласно с полною истиной?

Свиный замаялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин.

Владыко в молчании перепустил несколько раз чётки сквозь свои восковые персты и потом молвил:

– Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.

Опять чётки, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь:

– Неполная истина не есть ложь. Но о сем наименьше.

– Это действительно так, – заговорил поощрённый Свиньин. – Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя нарушил свой долг...

Чётки и тихоструйный перебив:

– Долг службы никогда не должен быть нарушен.

– Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью: он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя... Это высокое, святое чувство!

– Святое известно богу, наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенести на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. В сем справедливость от вас нимало не пострадала.

– Но он лишён и награды за спасение погибавших.

– Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас – подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг.

Пауза, чётки и тихоструй:

– Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем сем наибольшее – это то, чтобы хранить о всём деле сём осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сём было сказывано.

Очевидно, и владыко был доволен.

Глава восемнадцатая

Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым, по великой их вере, дано проникать тайны божия смотра, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что, вероятно, и сам бог был доволен поведением созданной им смиренной души Постникова. Но вера моя мала; она не даёт уму моему силы зреть столь высокого: я держусь земного и перстного*. Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожида-

ют никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и надёжные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа.

**Перстное – плотское (от персть – земной прах, пыль, плоть).*

Константин Станюкович. Ужасный день

I

Весь чёрный, с блестящей золотой полоской вокруг, необыкновенно стройный, изящный и красивый со своими чуть-чуть наклонёнными назад тремя высокими мачтами – военный четырехпушечный клипер «Ястреб» в это хмурое, тоскливое и холодное утро пятнадцатого ноября 1864 года одиноко стоял на двух якорях в пустынной Дуйской бухте неприветного острова Сахалина. Благодаря зыби клипер тихо и равномерно покачивался, то поклёвывая острым носом и купая штаги в воде, то опускаясь подзором своей круглой кормы.

«Ястреб», находившийся уже второй год в кругосветном плавании, после посещения наших, почти безлюдных в то время портов Приморской области, зашёл на Сахалин, чтобы запастись даровым углем, добытым ссыльно-каторжными, недавно переведёнными в Дуйский пост из острогов Сибири, и идти затем в Нагасаки, а оттуда – в Сан-Франциско, на соединение с эскадрой Тихого океана.

С обычной на военных судах торжественностью, на «Ястребе» только что подняли флаг и гюйс, и с восьми часов на клипере начался судовой день. Все офицеры, вышедшие к подъёму флага наверх, спустились в кают-компанию пить чай. На мостике только оставались, закутанные в дождевики: капитан, старший офицер и вахтенный начальник, вступивший на вахту.

– Позвольте отпустить вторую вахту в баню? – спросил старший офицер, подходя к капитану. – Первая вахта вчера ездила... Второй будет обидно... Я уж обещал... Матросам баня – праздник.

– Что ж, отпустите. Только пусть скорее возвращаются назад. После нагрузки мы снимемся с якоря. Надеюсь, сегодня кончим?

– К четырём часам надо кончить.

– В четыре часа я, во всяком случае, уйду, – спокойно и в то же время уверенно и властно проговорил капитан. И то мы промешкались в этой дыре! – прибавил он недовольным тоном, указывая своей белой, выхоленной маленькой рукой по направлению к берегу.

Несколько секунд не спускал он глаз с моря, точно стараясь угадать: не собирается ли оно разбушеваться, и, казалось, успокоенный, поднял глаза на нависшие тучи и потом прислушался к гулу бурунов, шумевших за кормой.

– За якорным канатом хорошенько следите. Здесь подлый грунт, каменистый, – сказал он вахтенному начальнику. – Сколько вытравлено цепи?

– Десять сажен каждого якоря.

Капитан двинулся было с мостика, но остановился и ещё раз повторил, обращаясь к плотной и приземистой фигуре старшего офицера:

– Так уж пожалуйста, Николай Николаич, чтобы баркас вернулся как можно скорей... Барометр пока хорошо стоит, но, того и гляди, может засвежить. Ветер прямо в лоб, баркасу и не выгрести.

– К одиннадцати часам баркас вернётся, Алексей Петрович.

– Кто поедет с командой?

– Мичман Нырков.

– Скажите ему, чтоб немедленно возвращался на клипер, если начнёт свежить.

С этими словами капитан сошёл с мостика и спустился в свою большую, комфортабельную капитанскую каюту. Проворный вестовой принял у входа дождевик, и капитан присел у круглого стола, на котором уж был подан кофе и стояли свежие булки и масло.

Тем временем к мостику подбежал вызванный боцман Никитин или Егор Митрич, как почтительно звали его матросы. Приложив растопыренные засмолённые пальцы своей здоровенной мозолистой и шершавой руки к сбитой на затылок намокшей шапке, он внимательно выслушивал приказание вахтенного офицера.

Это был коренастый и крепкий, небольшого роста, сутуловатый пожилой человек самого свирепого вида: с заросшим волосами некрасивым рябым лицом, с коротко подстриженными щетинистыми, колючими усами и с выкаченными, как у рака, глазами, над которыми торчали чёрные взъерошенные клочья. Перешибленный ещё давно марса-фалом нос напоминал тёмно-красную сливу. В правом ухе у боцмана блестела медная серёжка.

Несмотря однако на такую свирепую наружность и на самое отчаянное сквернословие, которым боцман приправлял и свои обращения к матросам, и свои монологи под пьяную руку на берегу, Егор Митрич был простодушнейшим и кротким существом с золотым сердцем и притом лихим, знающим свое дело до тонкости боцманом. Он никогда не обижал матросов – ни он, ни матросы не считали, конечно, обидой его ругательных импровизаций. Сам прежде выученный битьём, он, однако, не дрался и всегда был представителем и защитником матросов. Нечего и прибавлять, что простой и не заносчивый Егор Митрич пользовался среди команды уважением и любовью.

«Правильный человек Егор Митрич», – говорили про него матросы.

Выслушав приказание вахтенного лейтенанта, боцман вприпрыжку понёсся на бак и, вынув из кармана штанов висевшую на длинной медной цепочке такую же дудку, засвистал в неё соловьём. Свист был энергичный и весёлый и словно бы предупреждал о радостном известии.

Заметив молодого матросика, который и после свистка не трогался с места, Егор Митрич крикнул, стараясь придать своему голосу сердитый тон:

– А ты, Конопаткин, что расселся ровно собачья мамзель, а? Ай в баню не хочешь, пёсья твоя душа?

– Иду, Егор Митрич, – проговорил, улыбаясь, матросик.

Весёлые и довольные, что придётся попариться в бане, в которой не были уже полтора года, матросы и без понуканий своего любимца, Егора Митрича, торопливо доставали из своих парусинных мешков по

смене чистого белья, запасались мылом и кусками нащипанной пеньки, обмениваясь замечаниями насчёт предстоящего удовольствия.

– По крайности, матушку-Расею вспомним, братцы. С самого Кронштадта не парились.

– То-то в загранице нет нигде бань, одни ванны. Кажется, и башковатые люди в загранице живут, а поди ж ты! – не без чувства сожаления к иностранцам заметил пожилой баковый матрос.

– Так-таки и нигде? – спросил молодой чернявый матросик.

– Нигде. Без бань живут, чудные. Везде, у них ванны.

– Эти ванны, чтоб им пусто было! – вставил один из матросов. – Я ходил в Бресте в эту самую ванную. Одна слава что мытье, а форменного мытья нету.

– А хороша здесь, братцы, баня?

– Хорошая, – отвечал матрос, бывший вчера на берегу. – Настоящая жаркая баня. Линейные солдатики строили; тоже, значит, российские люди. Им да вот этим самым несчастным, что роют уголь, только и утеха одна, что баня...

Минут через пять баркас, полный людьми, с поставленными парусами, отвалил от борта с мичманом Нырковым на руле, понёсся стрелой с попутным ветром и скоро скрылся в туманной мгле, всё ещё окутывавшей берег.

II

Когда старший офицер объявил в кают-компании, что сегодня «Ястреб» непременно уйдёт в четыре часа, хотя бы и не весь уголь был принят, все по этому случаю выражали свою радость. Молодые офицеры вновь замечтали вслух о Сан-Франциско и о том, как они там «протрут денежки».

После нескольких стаканов чая и многих выкуренных папирос старшему офицеру, видимо, не хотелось расставаться со своим почётным местом на мягком диване в тёплой и уютной кают-компании, особенно в виду оживлённых рассказов о Сан-Франциско, напомнивших Николаю Николаевичу, этому мученику своих тяжёлых обязанностей старшего офицера, что и ему ничто человеческое не чуждо.

– Пальто и дождевик!

– Куда вы, Николай Николаич? – спросил доктор.

– Станный вопрос, доктор, – отвечал как будто даже обиженно старший офицер. – Точно вы не знаете, что уголь грузят...

И старший офицер пошёл наверх «присматривать» и мокнуть, хотя и без его присутствия выгрузка шла своим порядком.

В кают-компании продолжалась весёлая болтовня моряков, ещё не надоевших друг другу до тошноты, что случается на очень длинных переходах, когда нет новых впечатлений извне.

Один только Лаврентий Иванович, старший штурман клипера, не принимал участия в разговоре и посасывал свою манилку, постукивая сморщенными, костлявыми пальцами по столу далеко не с тем добродушно-спокойным видом, с каким он это делал, когда «Ястреб» был в открытом океане или стоял на якоре на хорошем, защищённом рейде. Вдобавок Лаврентий Иванович не мурлыкал, по обыкновению, себе под нос излюбленного им мотива какого-то старинного романса, и это молчание тоже кое-что значило.

Это был сухощавый, среднего роста человек, лет пятидесяти, с открытым, располагающим, ещё свежим лицом, добросовестный и педантичный до щепетильности служака, давно уж примирившийся со своим, вечно подневольным, положением штурмана и скромной карьерой и не злобствовавший, по обычаю штурманов, на флотских. Поседевший на море, на котором провёл большую часть своей одинокой, холостой жизни, он приобрёл на нем вместе с богатым опытом, закалкой характера и ревматизмом ещё и то несколько суеверное, почти-тительно-осторожное отношение к хорошо знакомому ему морю, которое делало Лаврентия Ивановича весьма недоверчивым и подозрительным к коварной стихии, показывавшей ему во время долгих плаваний всякие виды.

Видимо, чем-то озабоченный, он то и дело выходил из кают-компании наверх, поднимался на мостик и долгим, недоверчивым взглядом своих маленьких, зорких, как у коршуна, глаз глядел на море и озирался вокруг.

– Дождь-то, слава богу, перестаёт, Лаврентий Иваныч, – весело заметил вахтенный лейтенант Чирков.

– Да, перестаёт.

В мягком, приятном баске старого штурмана не слышно было довольной нотки. Напротив, то обстоятельство, что дождь перестаёт, казалось, не особенно нравилось Лаврентию Ивановичу. И словно бы не доверяя своим зорким глазам, он снял с поручней большой морской бинокль и снова впился в почерневшую даль.

– Что это вы, Лаврентий Иваныч, всё посматриваете?.. Мы, кажется, не проходим опасных мест? – шутливо спросил Чирков, подходя к штурману.

– Не нравится мне горизонт-с! – отрезал старый штурман.

– А что?

– Как бы вскорости не засвежело.

– Эка беда, если и засвежеет! – хвастливо проговорил молодой человек.

– Очень даже беда-с! – внушительно и серьёзно заметил старший штурман. – Этот свирепый норд-вест коли заревёт вовсю, то надолго, и уж тогда не выпустит нас отсюда... А я предпочёл бы штормовать в открытом море, чем здесь, на этом подлеце рейде. Да-с!

– Чего нам бояться. У нас – машина. Разведём пары, в помощь якорям, и шутя отстоимся! – самоуверенно воскликнул Чирков.

Лаврентий Иванович посмотрел на молодого человека с снисходительной улыбкой старого, бывалого человека, слушающего хвастливого ребёнка.

– Вы думаете «шутя»? – протянул он, усмехнувшись... Напрасно! Вы, батенька, не знаете, что это за подлый норд-вест, а я его знаю. Лет десять тому назад я стоял здесь на шхуне... Слава богу, вовремя убрались, а то бы...

Он не закончил фразы, боясь, как все суеверные люди, даже упоминать о возможности несчастья, и, помолчав, заметил:

– Положим, машина, а всё бы лучше подобру-поздорову в море! Ну его к черту уголь! В Нагасаки можем добрать. Эта хитрая каналья

норд-вест сразу набрасывается, как бешеный. А уж как он расшвыряет до шторма, тогда уходит поздно.

– Что ж вы капитану не скажете?

– Что мне ему говорить? Он и сам должен знать, каково здесь отстаиваться в свежую погоду! – не без раздражения ответил старый штурман.

Лаврентий Иванович, однако, скрыл, что ещё вчера, как только задул норд-вест, он доложил капитану о «подлости» этого ветра и крайне осторожно выразил мнение, что лучше бы уходило отсюда. Но молодой самолюбивый и ревнивый к власти капитан, которого ещё тешили первые годы командирства и который не любил ничьих советов, пропустил, казалось, мимо ушей замечание старшего штурмана и ни слова ему не ответил.

– А всё-таки, Лаврентий Иваныч, вы бы доложили капитану! – проговорил лейтенант Чирков, несколько смущённый словами старого штурмана, хотя и старавшийся скрыть это смущение в равнодушном тоне голоса.

– Что мне соваться с докладами? Он сам видит, какая здесь мерзость! – с сердцем ответил Лаврентий Иванович.

В эту минуту на мостик поднялся капитан и стал оглядывать горизонт, весь покрытый зловещими чёрными тучами. Они, казалось всё росли и росли, охватывая всё большее пространство и, разрываясь, с поразительной быстротой поднимались по небосклону. Дождь перестал. Кругом, у берегов, прояснялось.

– Баркас ещё не отвалил? – спросил капитан вахтенного.

– Нет.

– Поднять позывные!

В спокойном обыкновенно голосе капитана едва слышна была тревожная нотка.

«Небось, теперь тревожишься, а вчера и слушать меня не хотел!» – подумал старый штурман, искоса взглядывая на капитана, стоявшего на другой стороне мостика.

– То-то молода, в Саксонии не была! – прошептал Лаврентий Иванович любимую свою присказку.

– Баркас отваливает! – крикнул сигнальщик, всё время смотревший на берег в подзорную трубу.

Сильный шквалистый порыв ветра внезапно ворвался в бухту, пронёсся по ней, срывая гребешки волн, и прогудел в снастях. «Ястреб», стоявший против ветра, шутя выдержал этот порыв и только слегка дрогнул на своих туго натянутых якорных канатах.

– Прикажете разводите пары. Да чтобы поскорей! – сказал капитан.

Вахтенный офицер дёрнул ручку машинного телеграфа и крикнул в переговорную трубку. Из машины ответили: «Есть, разводим!»

– Отправьте угольные лодки на берег! Чтоб всё было готово к съёмке с якоря! – продолжал отдавать приказания капитан повелительным, отрывистым и слегка возбуждённым голосом, сохраняя на лице своем обычное выражение спокойной уверенности.

– А ведь вы были правы, Лаврентий Иваныч, и я жалею, что не послушал вас и не снялся сегодня с рассветом с якоря! – проговорил вдруг капитан громко и, казалось, нарочно громко, чтоб слышал и Чирков, и старший офицер, поспешивший взбежать на мостик, как только узнал о съёмке с якоря.

Сознание в своей неправоте такого уверенного в себе и страшно самолюбивого человека, каким был этот образованный, блестящий и действительно лихой капитан, совсем смягчило сердце скромного Лаврентия Ивановича. И он вдруг смутился и, словно в чем-то оправдываясь и желая в то же время оправдать капитана, промолвил:

– Я, Алексей Петрович, потому позволил себе доложить, что сам испытал, каков здесь норд-вест... А в лоции ничего не говорится...

– А, кажется, собирается засвежить не на шутку! – продолжал капитан, понижая голос... Взгляните! – прибавил он, взмахнув головой на далёкие тучи.

– Штормом попахивает, Алексей Петрович... Уж мне и в ногу стреляет-с, – шутливо промолвил старый штурман.

– Ну, пока он разыграется, мы успеем выйти в море... Пусть себе там нас треплет...

Опять, словно предупреждающий вестник, пронёсся порыв, и снова клипер, точно конь на привязи, дёрнулся на цепях...

Капитан велел спустить брам-стенги.

– Да живее пары! – крикнул он в машину.

Брам-стенги были быстро спущены лихой командой клипера, и старший офицер, командовавший авралом, довольно улыбался, как они «сгорели». Скоро из трубы повалил дым. Баркас с людьми выгребал дружно и споро и приближался к клиперу. Все гребные судна были подняты.

А ветер заметно свежел. Приходилось потравливать якорные цепи, натягивавшиеся при сильных порывах в струну. Клипер при этом подавался назад, по направлению к берегу. Зыбь усиливалась, играя «зайчиками», и «Ястреб» стремительней «клевал» носом.

– Ну, слава богу, через час уйдём из этой дыры! – радостно говорили мичманы в кают-компании.

– И чтоб в неё никогда не заглядывать больше!

К старшему штурману, спустившемуся в кают-компанию выкурить манилку и погреться, кто-то обратился с вопросом:

– Лаврентий Иваныч! Когда мы придём в Сан-Франциско, как вы думаете? Недельки через четыре увидим американок, а?

Лаврентий Иванович, почти не сомневавшийся, что клипер до шторма уйти не успеет и что ему придётся отстаиваться на рейде, ничего не ответил и быстрыми, нервными затычками торопливо докуривал свою манилку, озабоченный и мрачный, полный самых невесёлых дум о положении клипера, если штормяга будет, как он выражался, «форменный».

В эту минуту в кают-компанию влетел весь мокрый, с красным от холода лицом, молодой мичман Нырков и возбуждённо и весело воскликнул:

– Ну, господа, и анафема, я вам скажу, ветер... Так засвежел на половине дороги, что я думал: нам и не выгрести... Насилу добрались. И волна подлая... все мы вымокли... так и хлестало... И что за холод... Совсем замёрз. Эй, вестовые! Скорей горячего чаю и коньяку! – крикнул он и пошёл в свою каюту переодеваться, счастливый, что благополучно добрался и что в точности выполнил приказание и вернулся к одиннадцати часам. Он, ещё совсем молодой моряк, первый раз попавший в дальнее плавание, конечно, стыдился сказать в кают-компани, как ему было жутко на баркасе, захлёстываемом волной, как страшно и за себя, и за матросов, и как он, сам трусивший, с небрежным ухарским видом подбадривал усталых, вспотевших гребцов «навалиться», обещая им по три чарки на человека.

III

Опасения старого штурмана оправдались.

Только что подняли баркас в ростры и принайтовили (привязали) его, как после трёх, последовательно налетевших жестоких шквалов заревел шторм, один из тех штормов, которые смущают даже и старых, опытных моряков.

Картина озверевшей стихии была действительно страшная.

По небу, с едва пробивающимися на свинцовом фоне голубыми кусочками, бешено и, казалось, низко неслись чёрные клочковатые облака и покрывали весь небосклон. Несмотря на утро, кругом стоял полусвет, точно в сумерки. Море, что называется, кипело. Громадные волны шумно и яростно нагоняли одна другую, сталкивались и рассыпались в своих вершушках алмазной пылью, которую подхватывал вихрь и нёс дальше. Страшный рёв бушующего моря сливался с рёвом дьявольского ветра. Встречая в клипере препятствие, он то сердито выл, то проносился каким-то жалобным стоном в такелаже и мачтах, в люках и дулах орудий, гнул стеньги, потрясал на боканцах шлюпки, срывал непринайтовленные предметы и сердито трепал бесчисленные снасти.

Нахлобучив на лоб фуражку, чтоб её не сорвало ветром, стоял капитан на мостике, цепко держась одной рукой за поручни. В другой

у него был рупор. Ледяной ветер дул ему прямо в лицо, пронизывая его всего холодом, но капитан, не покидавший мостика уже около часа, казалось, не чувствовал ветра, весь сосредоточенный, страшно серьёзный и, по-видимому, совершенно спокойный. Однако это спокойствие, стоившее ему усилия, было лишь наружным спокойствием моряка, умеющего владеть собой в серьёзные минуты. В душе у этого самолюбивого, отважного человека была мучительная тревога, и всё его существо было в том нервном напряжении, которое при частых повторениях нередко преждевременно старит моряков и в нестарые ещё годы делает их седыми. Он хорошо понимал опасность положения клипера и вверенных ему людей и, ввиду страшной нравственной ответственности, испытывал жгучие упреки совести. Его самонадеянная уверенность – виною всего... Зачем он не послушал вчера совета старого, много плававшего штурмана?.. Зачем он не ушёл?.. И вот теперь...

– Пары! Когда же пары!?! – крикнул он, дёргая порывисто ручку машинного телеграфа.

Из машины ответили, что пары будут готовы через десять минут...

Десять минут в такой анафемский шторм, грозивший в каждое мгновение сорвать с якорей клипер, ведь это – целая вечность! Работая машиной, в помощь якорям, ещё возможно удержаться и отстаиваться...

– Готов ли запасной якорь? – спрашивал капитан старшего офицера, после того как тот доложил, что палубы и трюм им осмотрены и что всё в исправности: орудия наглухо закреплены и всё задраено.

– Готов.

– Цепи все вытравлены?

– Все. В струну вытягиваются, Алексей Петрович, – как бы, не дай бог, не лопнули и мы не потеряли бы якорей, – с сокрушением проговорил старший офицер.

Прошло пять, необыкновенно долгих для капитана, минут. Сейчас пары будут готовы, и мучительное беспокойство пройдёт.

«Ястреб», несмотря на усиливающийся шторм, пока держался на якорях и не дрейфовал.

Но в ту же секунду, как капитан об этом подумал, клипер необыкновенно сильно вздрогнул, рванувшись назад, с бака донёсся какой-то резкий, отрывистый лязг, и в то же мгновение боцман Егор Митрич стремглав подбежал к шканцам и прокричал громовым голосом.

– Цепи лопнули!

Точно обрадовавшись, что избавился от цепей, «Ястреб» метнулся в сторону, по ветру, и его понесло назад.

Брошенный немедленно запасный якорь на минуту задержал клипер. Он помотался и снова почувал свободу. Словно срезанная ножом, лопнула и эта цепь.

– Полный ход вперёд! Лево на борт! – громким, твёрдым голосом скомандовал внезапно побледневший капитан.

Слава богу! Машина застучала, и винт забурился за кормой. Клипер был остановлен в его опасном беге и поставлен против ветра.

Серьёзное лицо капитана прояснилось. Но ненадолго.

Несмотря на усиленную работу машины, клипер едва удерживался на месте против жестокого ветра. Шторм крепчал, и «Ястреб» стало заметно дрейфовать назад.

– Самый полный ход вперёд!..

Ещё чаще стала машина отбивать такты, но мог ли «Ястреб» устоять против этого адского урагана?

«Ах, если б шторм ослабел!»

Вдруг корма дрогнула, словно коснувшись какого-то препятствия. Винт перестал буровить воду, сломанный в тот момент, когда «Ястреб» прочертил кормой, вероятно, у камня.

Теперь совсем беспомощный, без винта, без якорей, не слушая более руля, став лагом поперек волнения, клипер стремительно нёсся на длинную гряду камней, к седой пене бурунов, грохотавших в недалёком расстоянии.

Машина, теперь бесполезная, застопорила.

IV

Крик ужаса вырвался из сотни человеческих грудей и застыл на исказившихся лицах и в широко раскрытых глазах, устремлённых с каким-то бессмысленным вниманием на белеющую вдаль, точно вздутую, ленту. Все сразу поняли и почувствовали неминуемость гибели и то, что всего какой-нибудь десяток минут отделяет их от верной смерти. Не могло быть никакого сомнения в том, что на этой длинной гряде камней, к которой шторм нес клипер с ужасающей быстротой, он разобьётся вдребезги, и нет никакой надежды спастись среди водяных громад беснующегося моря. При этой мысли отчаяние и тоска охватывали души, отражаясь на судорожно подёргивающихся, смертельно бледных лицах, на неподвижных зрачках и вырывающихся вздохах отчаяния.

Матросы снимали фуражки, крестились и побелевшими устами шептали молитвы. По некоторым лицам текли слезы. На других, напротив, стояло выражение необыкновенно суровой серьёзности. Один, совсем молодой матрос, Опарков, добродушный, весёлый парень, попавший прямо от сохи в «дальнюю» и страшно боявшийся моря, вдруг громко ахнул, захохотал безумным смехом и, размахивая как-то наотмашь руками, подбежал к борту, вскочил на сетки и с тем же бессмысленным хохотом прыгнул в море и тотчас же исчез в волнах.

Ещё другой, такой же молодой, обезумевший от отчаяния матрос хотел последовать примеру товарища и с диким воплем бросился было к борту, но боцман Егор Митрич схватил его за шиворот и угостил самой отборной руганью. Эта ругань привела матросика в сознание. Он виновато отошёл от борта, широко крестясь и рыдая, как малый ребёнок.

– Так-то лучше! – ласково проговорил Егор Митрич дрогнувшим голосом, чувствуя бесконечную жалость к этому матросику. – Бога вспомни, а не то, чтобы самому жизни решаться, глупая твоя башка, так твою так! А ты, матросик, не плачь, господь, может, ещё и вызовет, – прибавил, утешая, старый боцман, сам не имевший ника-

кой надежды на спасенье и готовый, казалось, безропотно покориться воле божьей, посылавшей смерть.

Несколько старых матросов, соблюдая традиции, спустились на кубрик, спешно одели чистые рубахи и, подойдя к большому образу Николая-чудотворца, что находился в жилой палубе, прикладывались к нему, молились и уходили наверх, чтоб гибнуть на людях.

Несмотря на весь ужас положения, среди команды не было той паники, которая охватывает обыкновенно людей в подобные минуты. Привычка к строгой морской дисциплине, присутствие на мостике капитана, старшего офицера, вахтенного начальника и старого штурмана, которые не покидали своих мест, точно клипер не стремился к гибели, сдерживали матросов. И они, словно испуганные бараны, жались друг к другу, сбившись в толпу у грот-мачты, и с трогательной покорностью отчаяния переводили взгляды с моря на капитана.

И офицеры, сбившиеся в кучку на шканцах, и матросы, толпившиеся у грот-мачты, то и дело взглядывали на капитана.

И взгляды эти точно говорили:

«Спаси нас!»

V

Словно затравленный волк, бледный и озлобленный, с горящими глазами, всё ещё не теряя самообладания, капитан, точно приросший к мостику, жадно и сердито озирался вокруг, ища спасения людей и клипера. Прошло не более минуты, как клипер понёсся на гряде, и капитан, переживший в эту минуту целую вечность, к ужасу своему, не находил исхода... Ещё десяток минут, и клипер вскочит на камни, и там общая смерть...

Но вдруг глаза его впились в небольшой заливчик, вдавшийся в берег справа, впились и блеснули радостным блеском, озарив всё его лицо. И в то же мгновение он крикнул в рупор громким, уверенным и повелительным голосом:

– Паруса ставить. Марсовые к вантам!.. Живо! Каждая секунда дорога, молодцы! – прибавил он.

Этот уверенный голос пробудил во всех какую-то смутную надежду, хотя никто и не понимал пока, к чему ставятся паруса.

Только старый штурман, уже приготовившийся к смерти и по-прежнему спокойно стоявший у компаса, весь вострепнулся и с восторженным удивлением взглянул на капитана.

«Молодчага! Выручил!» – подумал он, любуясь, как старый морской волк, находчивостью капитана и догадавшись, в чём дело.

И штурман снова оживился и стал смотреть в бинокль на этот самый заливчик, почти закрытый возвышенными берегами.

– Я выбрасываюсь на берег! – отрывисто, резко и радостно проговорил капитан, обращаясь к старшему офицеру и к старшему штурману. – Кажется, там чисто... Камней нет? – прибавил он, указывая за костеневшей рукой, красной, как говядина, на заливчик, омывающий лощинку.

– Не должно быть! – отвечал старый штурман.

– А как глубина у берега?

– По карте двадцать фут.

– И отлично... В полветра мигом долетим...

– Как бы в эдакий шторм не сломало мачт! – вставил старший офицер.

– Есть о чем говорить теперь, – небрежно кинул капитан и, подняв голову, крикнул в рупор: – Живо, живо, молодцы!

Наконец, минут через восемь, во время которых клипер приблизился к бурунам настолько близко, что можно было видеть простым глазом черневшие по временам высокие камни, паруса были поставлены, и «Ястреб», с марселями в четыре рифа и под стакселем, снова, как послушный конь на доброй узде, бросился к ветру и, накренившись, почти чертя воду бортом, понёсся теперь к берегу, оставив влево за собой страшную пенящуюся ленту бурунов.

Все перекрестились. Надежда на спасение засветилась на всех лицах, и боцман Егор Митрич уж ругался с прежним одушевлением за невытянутый шкот у стакселя и с заботливой тревогой посматривал наверх, на гнувшиеся мачты.

– Спасайте-ка свои хронометры, Лаврентий Иванович, – сказал капитан, когда клипер был уже близко от берега, – удар будет сильный, когда мы врежемся.

Старый штурман пошёл спасать хронометры и инструменты.

Клипер, словно чайка, летел с попутным штормом прямо на берег. Мёртвое молчание царило на палубе.

– Держись, ребята, крепче! – весело крикнул капитан, сам вцепившись в поручни... – Марса-фалы отдай! Стаксель долой!

Паруса затрепыхались, и «Ястреб» со всего разбега выскочил носом в устье лоцины, глубоко врезавшись всем своим корпусом в мягкий песчаный грунт.

Все, как один человек, невольно обнажили головы.

VI

– Спасибо, ребята, молодцами работали!.. – говорил капитан, обходя команду.

– Рады стараться, вашескородие! – радостно отвечали матросы.

– За вас вечно будем бога молить! – слышались голоса.

Капитан приказал выдать людям по две чарки водки и скорей варить им горячую пищу. Вслед за тем он вместе со старшим офицером спустился вниз осматривать повреждения клипера. Повреждений оказалось не особенно много, и воды в трюме почти не было. Только при ударе тронуло машину да своротило камбуз.

– А молодец «Ястреб», крепкое судно, Николай Николаич.

– Доброе судно! – любовно отвечал старший офицер.

– Сегодня пусть отдохнёт команда, да и здесь стоять нам хорошо... шторм нас не побеспокоит, – продолжал капитан, – а с завтрашнего утра станем помаленьку выгружать тяжести и провизию и ещё вытянем подальше клипер, чтобы спокойнее зимовать и не бояться ледохода...

– Есть, – проговорил старший офицер.

– Провизии у нас ведь довольно до весны?

– На шесть месяцев...

– И, значит, отлично прозимуем в этой дыре, – заметил капитан, поднимаясь из машины.

Радостные, счастливые, иззябшие и страшно голодные, спустились офицеры в кают-компанию и торопили вестовых подать водки и чего-нибудь закусить да скорей затопить печку. Об обеде пока нечего было и думать. Всё заготовленное с утра пропало в свороченном на сторону камбузе.

В эту минуту двери отворились. Все смолкли. Вошёл капитан вместе со старшим офицером.

– Ну, господа, – проговорил он, снимая фуражку, – вместо Сан-Франциско будем зимовать здесь, в этой трущобе... Что делать!? Не послушал я вчера нашего уважаемого Лаврентия Иваныча... Не ушёл. А теперь раньше весны отсюда не уйдём... При первой возможности я дам знать начальнику эскадры, и он пришлёт за нами одно из судов. Оно отведёт нас в док, мы починимся и снова будем плавать на «Ястребе»... Да что это вы, господа, на меня так странно смотрите? – вдруг прибавил капитан, заметив общие удивлённые взгляды, устремлённые на его голову.

– Вы поседели, Алексей Петрович, – тихо, с каким-то любовным почтением проговорил старый штурман.

Действительно, его белокурая красивая голова была почти седа.

– Поседел!?. Ну это ещё небольшая беда, – промолвил капитан. – Могла быть беда несравненно большая... А что, господа, не позволите ли у вас закусить? – прибавил он. – Страшно есть хочется.

Все радостно усадили его на диван.

Весной за клипером пришёл сам «беспокойный адмирал» на корвете «Резвый» и отдал в приказе благодарность капитану за его находчивость и мужество, «с какими он спас в критические минуты экипаж и вверенное ему судно». Через несколько дней «Ястреб» был приведён на буксире в Гонконг и, починившись в доке, через месяц, по-прежнему стройный, красивый и изящный, плыл к берегам Австралии.